

“ТЫ, ЖГУЧИЙ ОТПРЫСК АВВАКУМА...”

Глава 7. “Голгофские христиане”

В июне 1912 года вышла вторая книга Клюева “Братские песни” с предисловием о. Валентина Свенцицкого и с собственным коротким вступлением “от автора”, где Николай сообщал читателю:

“Братские песни” – не есть мои новые произведения. В большинстве они сложены до первой книги “Сосен перезвон” или в одно время с нею. Не вошли же они в первую книгу потому, что не были записаны мною, а передавались устно или письменно помимо меня, так как я до сих пор редко записывал свои песни и некоторые из них исчезли из памяти.

Восстановленные уже со слов других или по посторонним запискам, песни мои и образовали настоящую книжку”.

На самом деле многие из стихотворений, вошедших в “Братские песни” не только “были записаны” Клюевым, но и публиковались на страницах “Новой земли”. Но то, что стихи, “образовавшие настоящую книжку” (и не только стихи) “передавались устно или письменно”, – сущая правда. Об этом свидетельствовал сам Клюев в письме Блоку, написанном не позже начала марта месяца.

“Новая земля” предлагает мне издать книжку стихов в духе “Песнь братьям” – в № 7–8 “Новой земли” (под этим названием было напечатано стихотворение “Иисуса крест кровавый...”. Кстати, написание имени “Иисус” говорит о том, что Клюев в это время отнюдь не придерживался заповеди “праотцев”: “Умрём за единый азъ” – С. К.)... Пишут так убедительно с заголовком: “Торопитесь делать добро”, что мне как-то неловко ответить необоснованным отказом. Быть может, новоземельцы и искренне веруют, что мои песни – “отклик Елеонских песнопений”. Я вовсе сбит с толку. По Москве распространяют мои письма, поют в Ямах моё стих(отворение) “Поручил ключи от ада...” и “Под ивушкой зелёной”... (В московских трактирах наподобие подвального под названием “Яма”, куда навевывались и Брихничёв, и епископ Михаил, и Валентин Свенцицкий, сектанты вели свои споры о вере с православными – и клюевские песни использовались в этих спорах наряду с проповедями самих “голгофских христиан” – С. К.)... Не знаю, врут ли или правду пишут. Брюсов мне пишет, что я должен держаться “на занятом положении”, одним словом, недоумениям моим нет конца. Книга предполагается с вступительной статьёй что ли епископа Михаила. Но беспокоит меня больше следующее: *не повредит ли мне книжка с такими песнями с художественной стороны?..*”

Вопрос весьма многозначительный и для Клюева важный: для него собственно поэтическое творчество и сочинение “песнопений” для “братьев” на-

ходятся на разных полюсах. Индивидуальное лирическое начало несовместимо в его собственном восприятии с “коллективным действием”, когда вариация на услышанный и запомненный или записанный гимн есть продолжение “братского” сотворчества. Нельзя здесь не вспомнить и о том, что иные стихотворения Александра Добролюбова подвергались народной обработке и становились религиозными псалмами, как, например, это:

*Не унывай, не унывай, душа моя.
Уповай, уповай на Вечного.
Ты видишь, Господин, печаль мою.
Ты кого пришлѣшь утешить меня:
Иль ангела, иль архангелов,
Иль Сам сойдѣшь, Владыка мой?
А я овца Твоя заблудшая.
От Твоего стада осталась я.
Меня враги изловляют,
И свои сети расставляют,
И своими сетями уловляют...*

Нетрудно предположить, что самым активным “продвигателем” “Братских песен” был Иона Брихничѣв. Последствия этого шага окажутся для Клюева чрезвычайно неожиданными, и удар он получит из-за угла – в полном смысле этого слова – от **своего**.

“Дорогой Валерий Яковлевич! – пишет Клюев Брюсову. – “Новая земля” предлагает мне издать второй сборник стихов в духе журнала под названием “Братские песни”. А. Блок советует издать, говорит об этом твёрдо. Спрашиваю Вашего совета. Быть может, Вы потрудитесь прочесть в № 1–2 “Новой зем(ли)” мою “Братскую песню”, чтобы знать, какой характер будет иметь книжка. Без Вашего совета я не решаюсь ответить Ионе положительно, а ему нужно печатать объявления, что моя книжка приложена к журналу за этот год”.

Это объявление было напечатано 25 июня в московской газете “Руль” рядом с объявлениями о выходе книг самого Брихничѣва “Апостолы реформации”, “Апостолы гуманности и свободы”, “Капля крови” – и в сопровождении отзыва на клюевские стихи из газеты “Современное слово”: “Песни Клюева – явление весьма незаурядное: глубоко-вдохновенные, стихийно-яркие, оригинальные. Это – поэзия новых, освободительных настроений в народе”.

А в предыдущем номере от 18 июня появилась статья Брихничѣва, посвящённая Клюеву под названием “Северное сияние”, в сопровождении редакционного примечания:

“Помещая настоящую статью, интересную с точки зрения внешних, бытовых условий, среди которых вырос молодой поэт, редакция не совсем солидарна с той восторженностью оценки, которую встречают со стороны автора статьи произведения Н. А. Клюева с точки зрения художественной и философской”.

Но именно описания “внешних, бытовых условий” никак не могли доставить Клюеву радости.

“Николай Алексеевич Клюев – сын народа. Он родился в семье бедного крестьянина села Желвачѣва, Олонецкой губернии.

Систематического образования он не получил, а своим необычайным духовным развитием обязан только себе, своей исключительной жажде знания.

В этом отношении Клюев очень похож на своего соседа по губерниям и товарища по судьбе – холмогорского рыбака Михаила Ломоносова.

Вот что об этой жажде знания Клюева писал мне в декабре 1910 г. Александр Блок: “Обрадуете его, т. е. Клюева, если пошлѣте ему “Новую Землю”. Он *жаден до чтения* и, конечно, особенно до чтения о “жизни”, а книг ему *доставать неоткуда*”.

У Клюева уже был повод с явным недоумением отнести к распространению своих частных писем, начало чему положил Блок. Теперь он обнаруживает, что из рук Брихничѣва распространяются “по Москве” письма, адресованные уже Ионе, а цитата из письма Блока в статье, контекст которой очевидно призван создать образ самоучки-самородка, используется, что называется, “по назначению” – в определённых целях.

Но дальше — больше. Недоумение начало сменяться холодным возмущением, когда речь в статье “брата” зашла о земляках и родителях.

“Если принять во внимание ту обстановку, в которой рос и развивался поэт, — его появление становится прямо-таки чудесным.

Село, где он родился, не насчитывающее и десяти дворов, населено людьми, находящимися едва ли не на самой примитивной степени развития. О молодёжи поэт всегда отзывается с большим уважением...

Но старики... на них нельзя не удивляться...

Село Желвачёво лишено растительности.

Около одной избы чудом выросла вишенка.

Старики, посоветовавшись между собою, решили срубить деревцо, “чтобы было гладко”... и срубили...

Тем не менее, поэт любит свою деревню, своих земляков и готов послужить им всем, чем может, хотя из этих усилий не всегда получается то, к чему стремится поэт...

О многом, видимо, рассказывал Клюев Брихничёву из своей жизни, из жизни своих земляков. Но Иона предпочёл “для контрасту” и пушшего эффекта выбрать “самое нужное” и ещё краски сгустил. Срубленная вишенка — цветочек по сравнению со следующей картиной.

“В урочное время за шкурками зверьков является в деревню целая стая алчных скупщиков и выменивает роскошные шкурки на безделушки.

Юный Клюев захотел помочь землякам.

Набирает воз шкурок, садится на воз и едет с ним в Петербург.

Шкурки проданы быстро и выгодно... Клюев привозит своим поручителям целую уйму денег.

Что же? Поражённые огромной разницей в цене, какую им давали скупщики и по какой продал Клюев, они решили, что шкурки, наверное, стоят и ещё больше и что их односельчанин продал шкурки дороже, а деньги утаил.

Собравшись толпою, они с вилами и кольями явились к отцу поэта с требованием, чтобы он выдал сына...

С трудом удалось успокоить обезумевшую невежественную и неблагодарную толпу!

Но поэт не помнит обид, и ещё недавно он писал мне с глубокой нежностью о земляках, которые слышали, что он выпустил книжечку, а книжки самой не видали, прося прислать книг и журналов для деревни...

Брихничёв с упоением рисует своего брата с кроткой голубиной душой, окружённого темнотой, невежеством и зверством в родной деревне... Ладно, земляки. “Живописание” Ионы доходит до клюевской семьи. Тут “контраст” ещё более разительный.

“Мать и отец, как и в большинстве подобных случаев, — не поняли ни музыкальной души, ни призвания своего “Николеньки”. Для них более дорог был другой сын, правда, ничем не выдающийся, но хорошо сравнительно устроившийся — по земному и время от времени присылающий им денежную дань.

В эти дни жизнь поэта дома становилась адом.

— Не ледящий наш Николенька и не путящий, — причитала в таких случаях мать поэта перед подстрекавшими её деревенскими бабами. — Уж лучше бы умер... Сама бы своими руками глаза закрыла. Легче бы было, чем смотреть на такого.

Не отставал и отец.

Раз, не довольствуясь разного рода укорами сыну, он выгнал его из дому, и поэт долгое время скитался без крова, пока не добрался с грехом пополам до Питера, где и нашёл пристанище у любимой сестры.

Но поэт не помнит обид...

Он знает, что мать и отец — люди неграмотные и делали больно ему по неведению.

И по-прежнему относится к ним любовно.

С неописуемой радостью везёт он отцу первую сотню из первого гоночара...

Прочитав это, Клюев не мог не испытать чувство тяжелейшей обиды.

Есть вещи, о которых рассказывают лишь по крайней доверительности самому близкому человеку, естественно, не предполагая, что этот “близкий человек” предаст рассказанное гласности да ещё и в своей “инструментовке”.

Кого Брихничёв назвал неграмотным? Потомственных староверов? Отца, служившего в жандармском управлении? Мать, обучавшую маленького Николая чтению по Часовнику? За что такая “милость”?

А насчёт “не ледащего” и “не путящего”... Были основания у Прасковьи Дмитриевны так говорить о младшем сыне, но к его стихотворчеству эти слова не имели никакого отношения. Это касалось личной жизни Николая – и разговор об этом ещё впереди.

Брихничёв не постеснялся ничего в своей хвалебной статье. Только уже другими глазами читал Клюев эту статью – и слова про “беспросветно грубых и развратных соловецких монахов”, и цитаты из писем Блока, писавшего, что “Клюев пишет в прозе очень замечательные вещи. Но... если просить у него статьи, он сейчас же сойдёт по скромности на молограмотность и мало-книжность...”

Ради красного словца... Финал статьи чрезвычайно ярок и интересен подробностями, подмеченными Брихничёвым и вынесенными им из разговоров с Клюевым. Но что мог думать Николай после всего прочитанного? “Не заводи друга – не наживёшь врага”?

“– Надо научиться говорить таким языком и выявлять себя такими поступками, – говорил он однажды, – чтобы ко всем – и к белым и к чёрным, и к злым и добрым, к праведным и грешным – подходить любовно... и вызыва(ть) в других только это чувство...”

Поэту 25 лет (на самом деле – 28 – **С. К.**). Внешностью он не отличается. Но обращают на себя внимание его удивительные голубые глаза.

Одевается он просто и даже бедно.

Говорит мало, тихо и всегда на ты, называя собеседника всегда – брат или сестра.

Письма и разговоры его отличаются исключительной искренностью и прямотой, что некоторые принимают даже за грубость; но это ошибочно...

Клюев по жизни аскет и девственник, но отношение его к женщине трогательное и нежное, как к сестре.

О проститутках Клюев говорит с какой-то болезненной грустью и в каждой видит Магдалину...

Город поэт ненавидит и всех живущих в городах называет “пленниками города”...

Прочитав эту статью, Клюев пробежал глазами извещения о торжественной молитве на Косовом поле, целью которого, как писал корреспондент было “возбуждение албанского фанатизма”, заметку о гибели художника Сапунова во время лодочной прогулки, отдельно остановился на корреспонденции “Старообрядческое торжество” (“Вчера в Троицком соборе старообрядческого Рогожского кладбища при огромном стечении богомольцев были отслужены литургия и торжественный молебен по случаю избавления от урагана 1904 года”) – и особенно внимательно прочёл живописание о том, что происходит на могиле Льва Николаевича Толстого. Тут впору было подумать: так проходит земная слава.

“Прошло лишь два года с тех пор, как в Ясной Поляне не стало Л. Н. И как чувствуется его отсутствие! Как здесь всё изменилось!

В усадьбе замелькали дощечки:

“Вход воспрещён”.

Разъезжают пьяные по праздникам черкесы – охрана графини. По воскресеньям толпы экскурсантов, дачников и просто пришедших от нечего делать заполняют усадьбу. На могиле, на которой в будни встретить можно двух-трёх крестьян из дальних-дальних деревень, пришедших сюда проведать графскую могилу, и молча, крепко о чём-то задумавшись, проводящих здесь по несколько часов, в воскресенье же толкается орава пошлого городского люда. Смех, шутки, писание на изгороди своих фамилий, имён, глупых изречений.

Но возмутительнее всего пикники...

Вокруг великой могилы, на деревне и в усадьбе, на зелёной травке располагаются компании, словно в Сокольниках. И все атрибуты сокольнических пикников: самовар, водка и проч. Яснополянские крестьяне нашли новую статью дохода. Целую неделю готовят к воскресенью молоко. С субботы запасаются водкой. Подростки и дети “работают” по части проводов на могилу”.

Вот так при жизни: слава пополам с ославливанием, а после смерти...

Можно предположить, что у Клюева вышло довольно серьёзное объяснение с “братом” Ионой по поводу “Северного сияния”. И Брихничёв, как вся-

кий настоящий фанатик, считающий правым только себя самого, не остался в долгу. Любовь мгновенно сменил на ненависть. И тут уж Николаю всякое лыко было в строку.

Брихничёв составил целое послание под замечательным заголовком: “Новый Хлестаков (правда о Николае Клюеве)” и разослал сей документ по “нужным” адресам. В числе первых его получили Валерий Брюсов и Сергей Городецкий.

Начало было симптоматичным: Брихничёв полностью оправдывает всё, написанное в статье, ссылкой на то, что “сказанное... записано со слов самого Клюева”. Дескать, что слышали – то и подали. Под каким “соусом” подали – не суть.

А дальше – Брихничёв излагает **правду** о Николае Клюеве, то есть – “что мы сами видели и наблюдали”.

Как Брихничёв “слышал” – более или менее понятно. А вот как “наблюдал”...

“Прежде всего о стихах, – писал он распаяя себя от строчки к строчке. – Боюсь, что многие из них, если не все, являются произведениями не самого Клюева, а какого-нибудь оставшегося неизвестным поэта из народа, стихами которого господин Клюев воспользовался, как обыкновенно пользуются чужою вещью, и выдал за свои.

Основанием для подобного предположения служит следующее:

В 1909 году – в августе месяце – в станице Слепцовской – на Кавказе – я слышал гимн “Он придёт, Он придёт, и содрогнутся горы...”

Буквально то же, что помещено в “Братских песнях”. Гимн этот пели сектанты “Новый Израиль”. Он произвёл на меня тогда потрясающее впечатление. Хотелось записать его, но мне не позволили.

В 1911 году в августе же Клюев прочёл нам ряд песен, в том числе и “Он придёт” и сказал – что **эти песни не его, а записаны им в Рязанской губернии**. В марте 1912 года Клюев напечатал эту песню за своею подписью. А затем поместил и в сборнике “Братские песни”...

Прервём на мгновение поток брихничёвской “правды” о Клюеве и поинтересуемся, – что этот “правдолюбец” писал о Клюеве Брюсову в сопроводительном письме.

“Дочь генерала Цепринского (Зинаида Николаевна Цепринская, лет 35), читая “Братские песни”, – “Мне сказали: “Света век не видать...” – с негодованием заявила, что эта песня не Клюева. Он всех одурачивает. Я знаю эту **народную** песню, я её наизусть знаю. Знаю с детства”.

Не правда ли, интересно?

Однажды Клюев сказал:

“Я проведу тут простачков”.

Не считает ли этот негодяй нас (в том числе и Вас) простачками?

Ведь Россия огромна... У народа – много **разных** песен...

И “простачков” много...

Умоляю Вас, Валерий Яковлевич, не оставить этого дела под спудом... Я не боюсь суда (в самом начале письма Брихничёв просил Брюсова потребовать от Клюева вызвать Иону на третейский суд – **С. К.**)”.

Здесь волей-неволей возникает вопрос: куда смотрел сам Иона Брихничёв, когда печатал упоминаемое стихотворение Клюева в “Новой земле”, если, как он сам пишет, – слышал текст этого гимна на Кавказе в 1909 году? Но это – вопрос второстепенный.

Куда интереснее другое. Похоже, ни сам Иона, ни пресловутая “дочь генерала” понятия не имели о таком характерном для Клюева приёме, как обработка народных песен и сектантских гимнов. Достаточно вспомнить исполнение Клюевым Толстому гимна “На горе, горе Сионской...”, который насчитывает множество вариантов. В это же время Клюев создаёт свои индивидуальные обработки народных песен, которые позже войдут в цикл “Песни из Заонежья”. Вот хоть одна из них – песня, петая ещё в XVIII веке: “Как у моего двора приукатана гора, приукатана, углажена, водою улита, и я скок на ледок, подломился каблучок, я упала на бочок... Ах, я рад, душа, поднять, со сторон люди глядят, поимать с тобой хотят, поведут тебя рядами, меня лавочками, тебя станут бить батожьем, меня – палочками...”

Что же у Клюева? А у Клюева – “Красная горка”.

*Как у нашего двора
Есть укатана гора,*

*Ах, укатана, увалена,
Водою улита.*

Зачин – практически тот же, что и в старой песне. Но если в оригинале – бытовая сценка, то в клюевской обработке – сказочный сюжет.

*Принаскучило младой
Шить серебряной иглой, —*

*Я со лавочки встала,
Серой уткой поплыла.*

Да плыть пришлось недалече... Не смогла девица взобраться на горку, ибо “козловый башмачок по раскату – не ходок”... И тут пред её очами – “паренёк-раскудрявич”... И – никаких завистливых глаз вокруг. А ежели и есть – то в художественном пространстве Клюева их нет. Не до них ни девице, ни “раскудрявичу”, “по волости соседу”, что подаёт суженой “бахромчат плат” и ведёт к “вихорю-коню” да к “саням лаковым”... Сказка!

И так в каждой обработке, начиная с раннего “Матроса”, который – тоже вариация на “Морскую легенду”, балладу, ходившую среди поморов и крестьян Русского Севера, – и до “Радельных песен” и других стихотворений, вошедших в “Братские песни”. Клюев и не скрывал своих источников. Позже в письме Есенину он напишет: “Я бывал в вашей губернии, жил у хлыстов в Даньковском уезде, очень хорошие и интересные люди, от них я вынес братские песни”... Точнее было бы сказать – вынес основу их. Ведь под клюевским пером они обрели совершенно иной вид, иную мелодию, иную инструментовку. Религиозные мотивы находили воплощение в изощрённой поэтической форме, унаследованной у русских классиков и новых поэтов, в том гармоничном сочетании звука и смысла, что становилось доступным для уха современного читателя. Потому и пелись песни Клюева в трактирах среди собратьев, потому и переходили из уст в уста.

*Ах вы, други, — полюбовные собратья,
Обряджайтесь в одёжу — в цветно платье.*

*Снаряжайтесь, умывайтесь беленько,
Расцветайтесь, как зорюшка, аленько,*

*Укрепитесь, собратья, хлебом-солью,
Причаститесь незримой Агнчьей кровью!*

*Как у нас ли, други, ныне радость:
Отошли от нас болезни, смерть и старость.*

*Стали плотью мы заката зарянее,
Поднебесных облак-туч вольнее.*

*Разделяют с нами брашна серафимы,
Осеняют нас крылами легче дыма,*

*Сотворяют с нами знамение-чудо,
Возлагают наши душеньки на блюдо.*

*Дух возносят серафимы к Саваофу,
Телеса на Иисусову Голгофу.*

Это можно и декламировать, и петь, чувствуя, как душа наполняется радостью, а всё существо – нечаянной лёгкостью. Радость в духе – это опреде-

ляющий признак всех клюевских “Братских песен”. Братство в духе – их содержательная константа.

*Ты взойди, взойди, Невечерний Свет,
С земнородными положи завет!*

*Чтоб отныне ли до скончания
Позабылися скорби давние,*

*Чтоб в ночи душе не кручинилось,
В утро белое зла не виделось,*

*Не желтели бы травы тучные,
Ветры веяли б сладкозвучные,*

*От земных сторон смерть бежала бы,
Твари дышащей смолкли б жалобы.*

...В том же году, когда вышли в свет “Братские песни”, в Санкт-Петербурге был издан с нотами сборник Михаила Кузмина “Духовные стихи”. Создавались эти стихотворения как тексты для музыкального исполнения в 1901–1903 годах, в тот период, когда Кузмин, прошедший искушения и атеизмом, и католичеством, увлёкся старообрядчеством, причём увлёкся настолько глубоко, что погрузился в повседневный старообрядческий быт. О его мыслях и настроениях этого времени свидетельствуют письма к другу юности Г. В. Чичерину.

“...Даже Мусоргского “Хованщина” и др. так бледны и ненужны по сравнению с той трепещущей красотой Волжского приволья, старых далёких городов, тесных келий, любовных речей и песен, всей привольной и красной жизни, которая если не как жизнь, то как зрелище-то доступно и вам. И как жалко то, что я пишу в сравнении с тем, как воспринимается и как захватывает всё это! И совсем излишне...”

“...То, что пробуждается в Страстную неделю при деревенских песнях, у тебя при виде зимнего бора, неужели это только художественность? И неужели те сокровища тайные, неизреченные, получаемые от ночных поклонов и молитв, и притом непременно по такой книге, пред такой иконой, по такой листовке (ибо таким образом я чувствую себя в связи и с известной церковью, известным бытом, осмыслен(ым) звеном, а не одинокою, бесплодною, хотя бы и пламенною высокою мечтою) – неужели это происходит из тех же источников, что порхания по Вавилонам и Клеопатрам? Тут источники таинственные самой жизни, ростки глубокие и цепкие, и всем доступные, и во всех имеющих содержание живущие; там же хотя и блестящее и прекрасное порхание и перевоплощения, удовлетворяющее потребности (не прихоти ли?) духа, не имеющей ничего общего с жизнью (в глубоком смысле и внешнем), и если и глубокой, то стоящей совсем особо, обособленный мир потребностей, для имеющих содержание, – менее чем третьестепенный и, мож(ет) быть, греховный. Каюсь, в любопытствующей художественной пытливости у меня как-то поух тот настоящий мир... и я, сделав порхающий круг, подошёл к нему с другой стороны, приняв и его за цветочек. И зато с какою радостью узнал я своё же сокровище!.. Я... просто наблюдал и воспринимал впечатления живого дела и стройного церковного и домашнего быта, т. е. всего, чем (и только этим) крепка и красна жизнь на земле... Крепость и живучесть этого быта (и не кучки, как духоборы (секта), а массы до миллиона наирусских живых людей) воочию доказывает, что он не есть археологический анахронизм, будто бы неподходящий ко времени и что он не оторван от дела и жизни, т. к. почти все они занимаются самыми живыми и житейскими делами. Это вот среда, это быт, тут связь и общность... Мистическая связь обряда и обычая – вот связь не выдуманная и не самовольная...”

“Живу в яблонных садах на горе над слиянием Суры с Волгой, за Сурой пески, поля и луга с деревнями, но я сию спиной к этому виду, похожему и идущему к центру чернозёмной России, со взором на Волгу, где за широкой ramenью, поросшей травой, кустами, пересечённой реками, ручьями и бо-

лотцами, начинается дубовый лес, а на горизонте высится тёмный бор, тянувшийся на северо-восток к полусибири. От него не оторвать взора и так щемит сердце от этого речного и лесного простора. До этого я был в разных местах и в Казани. В Семёновские скиты и в Владимирское село на святое озеро проследовал Мережковский, причём содержатели земских станций были недовольны обязанностью доставлять ему даром тройки. Но я ничего не пишу и не знаю, что выйдет...”

Работа, тем не менее, шла и плодом её стали “Духовные стихи”, максимально приближенные по словарю и ритмике песнопениям староверов, окружавших Кузмина, который жаждал полностью “совпасть” с ними — как во внешнем облике, в поведении — так и в собственно поэтическом творчестве.

*Я молодой, я бедный юнош,
Я Бога боюся,
Я пойду да во пустыню
Богу помолюся.*

.....

*И срублю я во пустыне
Себе тесну келью,
Стану жить я во пустыне
С дивьими зверями.*

.....

*И начну я службу править,
Птички зааминят,
И услышит ангел Божий
Тайную молитву.
Ни исправник, ни урядник
Меня здесь не схватят,
Ни попы, ни дьяконы
В церковь не затащат.*

.....

*О, прекрасная пустыня,
Мати всеблагая,
Приими своё ты чадо
В свои сладки недра.*

Первое впечатление, что Кузмин ближе к оригиналу, чем Клюев в “Радельных песнях”. Но здесь-то мы и сталкиваемся с феноменом, по-своему удивительным и в то же время совершенно закономерным. Клюев вышел из староверческой среды, зная её изнутри, жизнь и старая книга для него были единым целым, и книжная страница настолько же животворным питательным истоком, как и окружающие жизненные реалии. Кузмин пришёл в эту среду от книги, причём от книги, воспринимаемой “исторически”. Он сделал огромный шаг от попытки познания этого мира к тому, чтобы войти в этот мир и сделать его своим, что особенно симптоматично для человека из среды “культурных верующих”, о которых писал Дмитрий Философов: “...у нас положение культурных верующих очень трагично. Кто не хочет идти в сектанство, кто, по своим убеждениям, не может примкнуть к многочисленной группе неверующих интеллигентов, тот прямо не знает, где ему преклонить голову. Церковь для него не мать, а мачеха...” Староверие стало на короткий период краеугольным камнем мировоззрения и мироощущения Кузмина, что почувствовал Блок, рецензируя в 1907 году его “Комедию о Евдокии из Гелиополя”: “...творчество Кузмина имеет корни, может быть, самые глубокие, самые развилстые, кривые, прорывшиеся в глухую черноту русского прошлого. Для меня имя Кузмина связано всегда с пробуждением русского раскола, с тёмными религиозными предчувствиями России XV века, с воспоминанием о “заволжских старцах”, которые пришли от глухих болотных топей в приземистые

курные избы. Глубоко верю в эту мою генеалогию Кузмина. Если же так, то с чем только не связано его творчество в русской литературе XVIII и XIX века, которая ощупью тычется по тёмному стволу христианских чаяний? Одно из разветвлений этого живого ствола — творчество Кузмина; многое в нём побуждает забыть о его происхождении, считать Кузмина явлением исключительно наносным, занесённым с Запада. Но это — обман”.

На самом деле увлечение старообрядчеством было для Кузмина глубоким, серьёзно повлиявшим на его поэзию, но именно увлечением. “... Пойдя глубже в русское, я увлёкся расколом и навсегда охладел к официальному православию, — писал он позже. — Войти в раскол я не хотел, а не входя не мог пользоваться службами и всем аппаратом так, как я бы хотел”. И “Духовные стихи” наряду с циклом газэл “Венок вёсен” и “Александрийскими песнями” воспринимались как удачное, глубокое, точное артистическое перевоплощение на грани, а то и за гранью, стилизации. В данном случае — стилизации древнего стиха. Весьма точный портрет Кузмина этой эпохи дал Вячеслав Иванов в стихотворении с характерным названием “Анахронизм”:

*Старообрядческих кафизм
Чтецом стоя пред аналоем,
Иль Дафнисам кадя и Хлоям,
Ты всё — живой анахронизм.*

*В тебе люблю, сквозь грани призм,
Александрийца и француза
Вреён классических, чья муза —
Двухвековой анахронизм.*

Для Клюева, в душе которого изначально пылал религиозный огонь, в подобном “анахронизме” не было нужды. Ещё раз следует повторить: Клюев не “стилизовал”, а творил собственные гимны и песнопения, естественно и легко пользуясь найденное предшественниками — и новейшие поэтические достижения, которыми он овладевал, глубоко и пристально читая современных ему поэтов, пришлось в пору. Эпохи смыкались в его творчестве — и старая, книжная и устная, стихия — естественно и органично вбирала в себя новую волну, которая казалась каплей в том океане словесных сокровищ, что помнил Николай ещё по распевам матери. Потому-то и пелись, и передавались, и заучивались его “братские песни”, а “духовные стихи” Кузмина остались достоянием сравнительно узкого кружка.

... Они не раз встретятся на жизненной дороге — и их отношение друг к другу будет со временем резко меняться, — от полного взаимного неприятия до той стадии, которую, наверное, точнее всего определить словом “товарищество”.

* * *

Вернёмся всё же к Ионе Брихничёву, точнее, к его пасквилю “Новый Хлестаков”.

После обвинений в плагиате последовали обвинения Клюева во лжи и алчности.

“В предисловии к “Братским песням” Клюев пишет, что они, т. е. “Братские песни”, — написаны раньше “Сосен перезвона”, но мне — в присутствии ряда лиц, на мой упрёк ему — **во лжи и неискренности** — сказал: “В прошлом году у нас тоже была размолвка, **однако в результате наших отношений явились “Братские песни”**”.

Как же это — то раньше “Сосен перезвон”, а то в результате наших отношений. Слишком нагло.

Что-то очень тёмное, как и всё в господине Клюеве”.

Далее Брихничёв пересказывает услышанные от кого-то “клюевские” слова, “что “Братские песни” напечатаны **без его согласия**”, и, приняв это за чистую монету, начинает “опровергать”:

“... Мне, как потрудившемуся над изданием этой книги — была прислана книга с надписью — “священнику и брату”, а Свенцицкому — “с земным по-

клоном”. Упоминает клюевское “удовольствие, что книга издана так именно, как он хотел”. И далее, обличая, упоминает интересные детали:

“Вообще, что хотения Клюева были приняты к сведению, видно из того, что “пророк” **просит**, чтобы в предисловии Свенцицкого была вставлена фраза Клюева о самом себе, что “братские песни” — отклики тех песен, которые пели мученики Колизея и... братья на жестоких кострах. И даже это, как можно видеть из предисловия к “Братским песням”, было исполнено”.

А дальше — больше.

“Ложь и гипноз, которыми себя окружает Клюев, выдавая себя за религиозного реформатора, создали во мне представление о нём, как о чём-то **очень большом**.”

Кажется, я первый назвал его в печати новым пророком, за мной повторили это очень многие.

Теперь каюсь.

Клюев, бесспорно, очень выдающаяся личность, но типа Хлестаковского. Только более наглая. Ибо пустил в ход самое сильное оружие: религию и братство.

Религиозные отношения основываются на вере, и мы поверили ему.

Но по плодам их узнаете их. “Они придут, как волки в овечьей шкуре”.

А Клюев к своей **внешней** кротости ещё прибавлял — заявлял всем и каждому, **что никогда не имел сношений с женщинами**. Старался окружить себя ореолом и стоустой молвой.

Но сразу же ореол спадал, когда дело доходило до денег.

Всегда бросалась в глаза его **непомерная жажда стяжания**”.

И далее следовал подсчёт: сколько Клюев получил за “Братские песни” и “Сосен перезвон”. Следовало упоминание о гонорах с журналов. Упрёк, что “пророк” “не считает нужным внести свою долю в общую сокровищницу, а, наоборот, уводит у них последнюю материальную поддержку — 800 экземпляров “Сосен перезвон” — заплатив за них даже не 144 руб., которые они стоили его друзьям, а лишь 82”. Извещение о “выпрашивании” Клюевым денег и вещей у знакомых. “Кроме того (все эти два с половиной осенних месяца), прикрываясь бедностью, — читал за плату свои песни —

У Адашева — 2 раза,

— Озаровской,

— эстетов,

— графини Уваровой,

— гимназии Травниковой,

— Мендельсона,

— Мягковой,

— Третьякова и других”.

И, естественно, упоминание, что с каждого выступления “получил... по 25 руб.”

Список свидетельствовал о том, что Клюев становился модным поэтом и исполнителем. Его приглашали в богатые дома, в дома любителей и собирателей народного творчества. При том, что гонорары за публикации и исполнения были его единственным источником существования, и Брихничёв волей-неволей свидетельствовал против самого себя, упоминая, “что все эти и прочие деньги новый Хлестаков немедленно переводил на родину”. Т. е. “братья”, естественно, рассчитывали на Клюева, вошедшего в славу, как на источник дохода, а Николай в первую очередь помнил о престарелых родителях, о брате, который, “и ледащий, и путящий”, всё же не мог своим жалованием обеспечить их существование.

И ещё один “грех” подчёркивает Иона: “Вообще — “жидов и левых” господин Клюев не жалует (есть одно письмо его, где он пишет — “поймите меня — ведь вы не какие-нибудь жиды или левые”)). (Ведь насмотрелся Клюев и на тех, и на других, в период своей “революции” и тюремного сидения. Наслушался. Узнал многим из них цену.)

Клюев много что рассказывал о себе Брихничёву, и невозможно сейчас определить, где он “подкладывал себя”, следуя принципу “быть в траве зелёным, а на камне серым”, а где говорил от души, и насколько правильно Иона его понимал. Во всяком случае, для Брихничёва уже все средства были хороши, и отдельные фразы Клюева он использовал без зазрения совести ради убийственных выводов: “Хлестаков, лжец, религиозный шулер, клеветник,

литературный и нелитературный вор... **Я утверждаю, что для Клюева нет ничего невозможного** – если ему это выгодно...”

Послание разошлось достаточно широко, и иные позднейшие мемуары о Клюеве выдерживались в “брихничёвском” тоне.

И при всём при этом Брихничёв продолжал печатать Клюева. После уничтожения нескольких номеров “Новой земли” цензурой журнал был окончательно закрыт за статью “Похоронный марш”, посвящённую Ленскому расстрелу. Вместо него вышел журнал “Новое вино”, где в первом номере, на обложке которого был портрет Николая, была напечатана клюевская “Святая быль” и восторженнейшая статья о нём Любви Столицы “О певце-брате”: “Я говорю о замечательном литературном явлении последнего времени – о необычайной, нечаянно-радостной поэзии Николая Клюева, особое значение которой вскрывается, на мой взгляд, во второй его книге “Братские песни”. Как озеро, всплоены они светлым небом нового религиозного сознания; как луна, вскормлены тёмною землёю древнего народного творчества. Поэтому песни эти таят в себе таинственную связь с прошедшим и грядущим, с человеческим и божеским, со звериным и серафимским... Поёт он мир тот, т. е. землю новую, грядущую, и тогда ликует и торжествует, достигает, крылатый, нездешних высот, постигает нездешние красоты... Здесь он тоже брат, но брат тем, на ком голгофского креста печать высокая сияет, да светлоликим херувимам, да дымнокрылым серафимам. Здесь радуется он великим радованиям и веселится выпреним веселием, ибо зло побеждено жертвою, уныние одолено ликованием, смерть осилена воскресением...” Ладно – восторженная поэтесса, но ведь и сам Брихничёв тут же поёт Клюеву хвалу, уже следующей его книге, ещё только готовящейся к печати – “Лесные были”: “Страшная книга... Изумительная книга... Наша критика, привыкшая смотреть на стихи с точки зрения внешней, проглядела в книгах Клюева “Сосен перезвон” и “Братские песни”, – то, что составляет душу души Клюева, его глубокую религиозную личность, кладущую отпечаток на все произведения поэта и сообщающую им исключительную силу и мощь, **как призыв к новой** лучезарной жизни. Лучшие из критиков обратили внимание на сравнительно второстепенные вещи и забыли и обошли молчанием **вечные гимны**, ставящие поэта в ряды таких поэтов, как Давид и Иоанн Дамаскин... Клюев носит в себе подлинного, голгофского Христа. Этот Христос и помог ему посмотреть на жизнь иными глазами...”

Таким предстаёт “религиозный шулер, литературный и нелитературный вор” на страницах нового брихничёвского журнала. А в третьем номере Брихничёв печатает беседу с Клюевым под названием “Богоносец ли народ?”, где Клюев в чрезвычайно резких тонах отзывается о веховцах и их взглядах на русский народ и полемизирует с Владимиром Соловьёвым. И ни малейшей идеализации народа ни в клюевских словах, ни в клюевском тоне.

“Указывают на народ – богоносец... Как будто не путём самосознания, не путём страдания совершенствуется нация...”

Это Соловьёв говорил?

Я не согласен с Соловьёвым... Это – суеверие...

На самом деле народ – Дракон.

Земля – злое, тёмное божество...

И плен земли самый страшный...

Пахарь постоянно зависит от земли...

Молятся они во время засухи не Богу, а Духу земли...

Какой же тут народ богоносец?!

А к палке привыкнуть не большая заслуга... Терпение...

Чтоб они треснули с этим терпением... Ставят в заслугу целой нации, что она к палке привыкла...

Какое суеверие, Господи!

Барыня вывела собачку на цепочке и смотрит, как она гадит...

Так и они, называющие народ богоносцем, видят народ на цепочке и смотрят, как он гадит, и умиляются...

Читаю книги и думаю, что они плетут...

Конечно, отнимая от народа этот чин – богоносца, нельзя заключать, что он и свинья, и скотина...

Но нечего и болтать про то, чего не знаешь... А между тем ни один из них не объявится – “меня за умного считайте или за дурака, а я ничего не знаю”.

Тогда бы всем легче стало... Впрочем, я не знаю, какого бога они разумеют...

Того, кто сам ходит...

Или которого на руках носят...

Может быть, у них, у Булгаковых да Бердяевых, такой бог и есть, которого носить надо..."

С этой речью напрямую переключается клюевская "Святая быль", где "други-воины" навещают на земле "добра-молодца", что сам был из их рати небесной: "Моё платье — заря, венец-радуга, перстни-звёзды, а песня, то вихори, камню, травке и зверю утешные..." Слетев звездой на "землю святорусския — матери" (это уже не Дракон и не "тёмное, злое божество"), он, человеком став, — "всем по духу брат с человеками разошёлся... жизнью внутренней..." И вещает — в чём суть этого разлада:

*Святорусский люд тёмн разумом,
Страшен козностью, лют обычаем;
Он на зелен бор топоры вострит,
Замуруд степей губит полымем.
Перед сильным — червь, он про слабого
За сивухи ковш яму выроет,
Он на цвет полей тучей хмурится,
На красу небес не оглянется...*

Так видится русский человек ангелу во плоти, который знает, что творит "навет", и "навет" этот "чутко слушают" его друзья, и отвечают по достоинству: возвращают "друга" в небесные выси

*Мир и мир тебе, одноотчий брат,
Мир устам твоим, слову каждому!
Мы к твоим устам преклонили слух
И дадим ответ по разумию".
Тут взмахнул мечом светозарный гость,
Рассекал меня, словно голубя,
Под зенитный круг, в Божьи воздуши;
И открылось мне: Глубина Глубин,
Незакатный Свет, только Свет один!
Только громы кругом откликаются,
Только гор алтари озаряются,
Только крылья кругом развеваются!*

Не прижившийся среди людей, при всей любви к "земле святорусския", вернулся в родную обитель. А за навет — рассечённая плоть.

* * *

К сотрудничеству в "Новом вине" Брихничёв пытался привлечь и Блока, просил его написать статью о "Братских песнях", напечатал в журнале статью о нём той же Любове Столицы "Христианнейший поэт XX века", выдержанной в тех же восторженных тонах, что и статья её, посвящённая Клюеву. Блок отказался от этого предложения и ответил Брихничёву письмом, из которого видно, что ему чужд пафос и суть брихничёвского "делания" и что его связь с Клюевым истончилась до еле видимой нити.

"Многоуважаемый Иона Пантелеймонович. Я не враг Вам, но и не Ваш. Весь мир наш разделён на клетки толстыми переборками: сидя в одной, не знаешь, что делается в соседней... Пробриться сквозь толщу переборки невозможно. Делаешь, сидя в своей клетке своё одинокое дело: иногда узнаёшь, что это дело где-то, вне поля моего зрения, принесло плод. Точно так же узнаёшь, что дело соседа, чей голос казался родным, принесло плод. Все эти узнавания отрывисты, недостаточны, скудны. Всё это говорю я совсем не с отчаянием; хочу показать только, почему мне кажется невозможным делать общее дело с вами, с кем бы то ни было. Не говорю даже и "навсегда", — но

теперь так... Это не значит, что в России, например, нет такого четвёртого сердца, которое бы слышало биение трёх сердец (скажем: Клюевского, Вашего и моего) как одно биение. Ваша вера так велика, что из подобных фактов (а они существуют, я не сомневаюсь в этом) Вы можете делать немедленные заключения, строить на них. — Для меня же это только разрозненные факты, и я всегда могу думать меньше: Вы, Клюев, я, кто-нибудь четвёртый с Волги, из Архангельска, с Воьлыни — всё равно, — все разделены, все говорят на разных языках, хотя, может быть, иногда понимают друг друга. Все живут по-своему... Говорю к тому, чтобы показать, почему, любя Клюева, не нахожу ни пафоса, ни слова, которые передали бы третьему (читателю “Нового вина”) нечто от этой моей любви, притом передали бы так, чтобы делали единым и его, и Клюева, и меня. Все остаёмся разными... Всё более укрепляясь в этих мыслях, я всё более стремлюсь к укреплению формы художественной, ибо для меня (для моего “я”) она — единственная защита. Вы же (т. е. вся “Новая земля”), по-моему, пренебрегаете формой, как бы надеясь на души людей, принявших Ваше содержание, сами станут формами, его хранящими. Я и об этом не сужу, — не знаю, может или не может быть так. Говорю это опять-таки для того только, чтобы показать, как различны наши приёмы. Так же различны, как далеки друг от друга в настоящее время искусство и люди...”

...Ещё в сентябре Клюев писал Василию Гиппиусу, также привлекая его к сотрудничеству в новом журнале: “Здесь очень хорошие люди около журнала “Новое вино”. Но, ознакомившись с брихничёвским “посланием”, резко отстранился от бывшего друга и в письме к издателю К. Некрасову просил снять посвящение Брихничёву над “Святой былью” в готовящемся издании “Лесных былей”, а 22 мая 1913 года написал Брюсову:

“Дорогой Валерий Яковлевич, я получил письмо от Брихничёва, в котором он выражает сожаление о том, что написал Вам обо мне и 800 экземплярах “Сосен перезвона”. Дело объясняется очень просто, и к нему я никакого касательства не имею. С Брихничёвым я порвал знакомство, так как убедился, что он смотрит на меня как фартовый антрепренёр на шапоглотателя — всё это мне омерзительно, и я не мог поступить иначе”.

Он напечатает стараниями Брихничёва ещё одно произведение — стихотворение в прозе “За столом Его” в одесском альманахе “Солнечный путь”, и на этом их контакты прервутся раз и навсегда.

А в октябре месяце Клюев знакомится с Алексеем Николаевичем Толстым, который два вечера подряд слушает его стихи, оставшись совершенно очарованным. Сам начавший со стихов, издавший книгу “За синими реками”, Толстой пел ярко, размашисто, талантливо и глубоко лирично: “Ты зачем зашумела, трава? Напугала ль тебя тетива? Перепёлочья ль кровь горяча, что твоя закачалась парча?...” Но тут слушал, боясь пошевелиться.

*В просинь вод загляделися ивы,
Словно в зеркальце девка-краса.
Убегают дороги извивы,
Перелесков, лесов пояса.*

*На деревне грачиные граи,
Бродит сонь, волокнится дымок;
У плотины, где мшистые сваи,
Нишет скатную зернь Солнопёк —*

*Водянице стожарную кикю:
Самоцвет, зарянец, камень-зель.
Стародавнему верен навыку,
Прихожу на поречную мель.*

*Кличу девушку с русой косою,
С зыбким голосом, с вишеньем щёк,
Ивы шепчут: “Сегодня с красою
Поменялся кольцом Солнопёк.*

*Подарил её зарною кикой,
Заголублил в речном терему...”
С рощи тянет смолой, земляничкой,
Даль и воды в лазурном дыму.*

“Его стихи более чем талантливы”, – писал Толстой Некрасову. С подачи Алексея Николаевича издатель принял к печати “Лесные были”. А в это время шло бурное обсуждение “Братских песен”.

“Клюев – это настоящий, Божьей милостью поэт – самобытный, сочный, красочный, с интересным религиозно-философским мировоззрением и чистым откровенным цветением души. “Братские песни” по образности и одухотворённости изумительны”. (“Воскресная вечерняя газета”).

“Песни Клюева – явление весьма незаурядное, глубоко вдохновенные, стихийно-яркие, оригинальные. Это – поэзия новых, освободительных направлений в народе”. (“Современное слово”).

“Новая книга Клюева напоминает “духовные стихи”, “сектантские псалмы”... И действительно, братские песни удивительно общенародны. Их неопределённое воздыхание, обещание искупления, заложенное в них чаяние конечного счастья, счастья, добытого мукой крестной, отвечают упованиям многих и многих измученных народных душ... Это уже стихотворения, написанные не каким-то имярек, а безымянные псалмы, современные духовные стихи, которые поются где-нибудь в глухой, занесённой сугробами снега деревне, в душевной избе при едва тёплящихся жёлтых, пахнущих мёдом свечках...” (“Речь”).

“Братские песни” Клюева радуют, как зорька нового дня. Песни Клюева – это гимны воинов Христовых”. (“Копейка”).

“Вдохновенные, восточные, подкупающие стихи. Это звучная, красивая песня-молитва, песня-пророчество, песня-скорбь”. (“Кубанский край”).

Может быть, даже наверняка, читать это было приятно, но пищи ни для души, ни для ума эти восторги не давали.

* * *

Впрочем, восторги на этот раз явно поубавились. Клюев начал в полной мере ощущать на себе, что такое “художественная критика”.

“Тошную, претенциозную “вторую книгу” Н. Клюева трудно дочитать до конца... Тут кресты, терновник, венцы из терний, Голгофа, кущи рая, райский крин, зверь из бездны и т. д., и т. д. ... Но тут нет живого человеческого слова, идущего от сердца к сердцу...” (Василий Львов-Рогачевский, журнал “Современный мир”).

“Искупление грехов, кровавые слёзы раскаяния, эшафот и костёр, вот что сменило недавно бодрую музу Клюева... Потух внутренний огонь... и помертвели слова и образы... Неблагоприятное впечатление довершается крикливой статьёй Свенцицкого” (Виктор Ховин, газета “Новая Жизнь”).

Куда больший интерес вызывала статья Брюсова в “Русской мысли”.

“Среди подлинных дебютантов первое место принадлежит г. Н. Клюеву. Его первый сборник появился с предисловием пишущего эти строки, и потому мы считаем неудобным говорить об нём. Но теперь уже издана вторая книга Клюева “Братские песни”, может быть, более тесная по захвату, чем первая, но едва ли не более сильная... Проходя мимо стихотворений просто слабых (каких в книге немало), мы должны сказать, что лучшие являют редкий у нас образец подлинной религиозной поэзии. То, что давалось коллективному творчеству общин наших сектантов, выражено у г. Клюева в порыве личного, индивидуального вдохновения и открыто стихом, часто совершенным, иногда сделанным умелой и искусной рукой... Некоторая нелитературность его речи, неприятно останавливавшая в его поэтических описаниях природы, как нельзя более к месту оказалась в этих “духовных стихах”, которым и подобает говорить безхитростным народным говором... Мы затрудняемся пророчить о судьбе г. Клюева как поэта. Но во всяком случае он дал нам две хороших книги, – светские, молодые, яркие”.

Там, где “затруднялся” Брюсов, никаких затруднений не испытывал Гумилёв, отвергавший принадлежность поэзии и Клюева к поэзии “сектантской”.

“До сих пор ни критика, ни публика не знает, как относиться к Николаю Клюеву. Что он – экзотическая птица, странный гротеск, только крестьянин – по удивительной случайности пишущий безукоризненные стихи, или провозвестник новой силы, народной культуры? По выходе его первой книги “Сосен перезвон” я говорил второе. “Братские песни” укрепляют меня в моём мнении... Именно так и складываются образцы народного творчества, где-нибудь в лесу, на дороге, где нет возможности да и охоты записывать, отделять, где можно к удачной строфе придумать неуклюжее окончание, поступиться не только грамматикой, но и размером. Пафос Клюева – всё тот же, глубоко религиозный... Христос для Клюева – лейтмотив не только поэзии, но и жизни. Это не сектанство, отнюдь, это естественное устремление высокой души к небесному Жениху... Вступительная статья В. Свенцицкого грешит именно сектантской узостью и бездоказательностью. Вскрывая каждый намёк, философски обосновывая каждую метафору, она обесценивает творчество Николая Клюева, сводя его к пересказу учения Голгофской церкви”.

Одним из самых ярких почитателей Клюева в это время стал Сергей Городецкий. Он написал восторженнейшую статью о поэте “Незакатное пламя”, где, в частности, указал, что “литератором он (Клюев) покорно просит себя не считать, а только блюстителем древних песенных заветов и хранителем живого, действенного начала в слове”. Через его посредничество стихи Клюева появились в “Гиперборее” и в “Литературном альманахе”, издаваемом “Аполлоном”. Он же ввёл Клюева в только что созданный “Цех поэтов”, с ним же Николай посещал кабаре “Бродячая собака”, где Городецкий 19 декабря 1912 года делал доклад “Символизм и акмеизм” (о “собачьей повестке на лекцию об акмеизме” Клюев позже упоминал в письме к Миролубову). А в статье “Некоторые течения в современной русской поэзии”, напечатанной в № 1 “Аполлона” за 1913 год, писал буквально следующее: “Искупителем символизма явился бы Николай Клюев, но он не символист. Клюев хранит в себе народное отношение к слову, как к незыблемой твердыне, как к Алмазу Непорочному. Ему и в голову не могло бы прийти, что “слова – хамелеоны”; поставить в песню слово незначачее, шаткое да валкое, ему показалось бы преступлением; слести слова между собою не очень тесно, да с причудами, не с такой прочностью и простотой, как брёвна сруба, для него невозможно. Вздох облегчения пронёсся от его книг. Вяло отнёсся к нему символизм. Радостно приветствовал его акмеизм”. Это и большущий камень в огород Брюсова, упоминавшего “шероховатые” и “неудачные” стихи у Клюева, и спор с Гумилёвым по поводу “неудачных окончаний”... Но самое главное: Городецкий выдёргивает Клюева из “объятий” Блока и Брюсова (дескать, “вас здесь не стояло”) и объявляет себя и других акмеистов – единственным, кто по достоинству оценил клюевскую поэзию... Вот тут и подумаешь – не выступает ли новый покровитель в роли того самого “антрепренёра”, которым ранее был Брихничёв?

Превращение в “литератора модного” не могло радовать Николая. А “Бродячая собака” произвела на него впечатление жуткое.

Из дневника Алексея Толстого (1912 год):

“Сентябрь. “Бродячая собака”. Спор Евреинова, Чекан и Мгеброва с Таировым, Ауслендер держала за руку Таирова (особенно выразительны Чекан и Мгебров).

Чекан закрывала глаза и, прижимая пальцы к груди, говорила, углы рта её поднимались, волосы путались, потом, окончив, она тёрла глаза, точно они болели. У Мгеброва рот дерзкий и обиженный, глаза загораются и вдруг в них недоверие, робкая усмешка. Н. Н. (Евреинов) в бархат(ном) длинном сюртуке. Таиров на высоком стуле, самодоволен и уверен, как загнавший в угол, к тому же они от него зависят”. И характернейшая реплика Мгеброва: “Продавать себя ничуть не стыдно”.

И всё это наблюдал Клюев. И слышал эти речи.

Позже он напишет Блоку: “Я пришёл в отчаяние от Питера с Москвой. Вот уж где всякая чистота считается самарянской проказою, и потупленные долу очи и тихие слова от жизни почитаются вредными и подлежащими уничтожению наравне с крысиными полчищами в калашниковских рядах и где сифилис титулован священной болезнью, а онанизм под разными соусами принят как “воробьиное занятие” – походя, даже без улыбки, отличающей человеческие действия вообще, а произвольно, уже без памяти о свершившемся. Нет, уж

лучше рекрутчина, снохачество, казёнка, чем “Бродячая собака”, лучше Семёновские казармы, Эрмитаж с гербами и с привратником в семизэтажной лифрее, чем “танец апашей”, лучше терем Виктора Васнецова, чем “Зон” и крест на месте убиения князя Сергия в Кремле, лучше искусства Бурлюка”.

Но пока – он принимает правила предложенной игры. Тем более, что она сопровождается неумными и неглупыми похвалами Городецкого.

С прежними товарищами по “Новой земле” он расстался навсегда.

* * *

По-разному окончили свои земные дни бывшие голгофские христиане.

Епископ Михаил (Семёнов) был смертно избит извозчиками на станции Сортировочная под Москвой и скончался в больнице. Отец Валентин Свенцицкий после революции неистово выступал против обновленцев, был заключён в Бутырскую тюрьму и отправлен в ссылку. Вернувшись, служил в церкви св. мученика Панкратия на Сретенке. После декларации митрополита Сергия Страгородского 1929 года не принял церковных нововведений, отказался помянуть и митрополита, и власть предрержащую, и отправился в новую ссылку в Сибирь. Умер в 1931 году на станции Тайшет. Перед смертью написал Сергию покаянное письмо:

“Уже давно меня тревожит совесть, что я тяжко согрешил перед святой церковью, и перед лицом смерти мне это стало несомненно.

Я умоляю Вас простить мой грех и воссоединить меня со святой Православной церковью.

Я приношу покаяние, что возымел гордыню вопреки святым канонам не признать Вас законным первым епископом, поставя свой личный разум и личное чувство выше соборного разума церкви. Я дерзнул не подчиниться святым канонам. . .

Мне ничего не нужно, ни свободы, ни изменений внешних условий, ибо сейчас я жду своей кончины, но ради Христа примите моё покаяние и дайте умереть в единении со святой Православной церковью”.

О. Валентин успел получить от митрополита прощение.

А Иона Брихничёв. . .

В 1922 году он выступил с книжкой, направленной против патриарха Тихона. Издал ещё несколько тонких книжечек, посвящённых ликвидации неграмотности и пропаганде атеизма. Сотрудничал в Пролеткульте и в Наркомпросе Грузии. Всю жизнь писал стихи и тщетно пытался пристроить их в печать. Умер он в Москве в 1968 году. Последние годы вёл большую переписку с ещё одной доброй и близкой знакомой Клюева уже рубежа 1920–1930 гг. – народной артисткой, знаменитой певицей Большого театра Надеждой Обуховой. Ни в одном из этих писем Брихничёва нет даже упоминания Николая Клюева. Некогда близкого друга он просто вычеркнул из своей жизни.

(Продолжение следует)